

Когда «искусствоведы в штатском» пришли за ним в декабре 1947 года прямо в общежитие Литинститута, он уже был живой легендой, все крутом считали: «Эмка — гений».

Ю. Карякин, сказал о нем, что это один из самых мужественных людей, которых он знал, потому что мужество думать безбоязненно и додумывать все до конца — свойство сегодня архиредкое. А Б. Сарнов заметил, что он наиболее полно воплощает очень русское представление о поэте.

По признанию участников прощального пленума правления СД СССР, самым замечательным его событием было появление в ЦДЛ Наума Коржавина, вернувшегося в Союз после 14-летнего отсутствия. В этом году он приезжал снова.

Итак, интервью для «СМ» дает поэт НАУМ КОРЖАВИН.

Наум Коржавин: «ОТКРЫВАТЬ, ЧТО ДВАЖДЫ ДВА — ЧЕТЫРЕ, ПРИХОДИТСЯ ЕЩЕ И ВАМ!..»

— Наум Моисеевич, как вам работало все эти годы? Может быть, именно долгое отсутствие стало причиной того, что вам удалось остаться самим собой?

— Этот вопрос не имеет алгебраического ответа, это как у кого. Эмиграция не сахар, тем более для деятеля культуры, человека мысли, вообще интеллигент. Это отрыв от своей среды, от истории (хотя я и не могу сказать, что был буквальный отрыв, но он был), от моря языка. Это при том, что особенным антизападником я никогда не был, но и за границу никогда не стремился. Мне, конечно, в эмиграции было тяжело, но не знаю, смог бы я здесь жить. Думаю, что нет. По тому состоянию нервов, которое было перед отъездом, по той ситуации, в которую я попал, — психологическую ситуацию, — мне ничего не угрожало, никто меня не собирался сажать, тут особых легенд не надо. Вызывали меня несколько раз в прокуратуру, задавали idiotские вопросы по делу, к которому я не имел никакого отношения. Это на меня тоже подействовало, потому что противно, когда вызывают и могут любые вопросы задавать.

Все это уже было в моей жизни, и это стало каплей, переполнившей чашу... А главное, я устал. Вообще было отчаяние, просто я устал доживать. Думал так: померещу где-нибудь лет через пять-семь, ну десять... Мне было сорок восемь. Не помер, остался жить.

— Сарнов сказал, что если бы вы не уехали, то попали бы в «психушку»...

— Не знаю. Думаю только, что рассчитывать на конец жизни — дело ненадежное, никому не советую.

А тогда было отчаяние, неверие. Вот говорят: застой. Да, термин, эвфемизм, но в каком-то смысле правительственный эвфемизм, потому что развитие остановилось. Никаким экстремизмом и утопизмом я не был никогда, просто считал, что мы становимся нормально плохой страной. В хорошие страны я не верю, и вообще там, где живут люди, особенно хорошо не бывает, ибо мы существа несовершенные. В этом я убежден, да и раньше был убежден.

И тем не менее как-то надеялся, жил и рассчитывал, что в этой обихованной жизни есть какая-то духовная высота, которую можно находить. Потому что дело поэта — искать эту высоту в повседневности, во всем. А тут неослабность. Ну, а с этим я не могу, когда мертвый хвостом живого за горло. А так и было. Ведь что такое брешневщина? — это сталинщина на свободе. Выдвиженцы Сталина без его плетей, без его бича.

— Я вспоминаю слова Войновича, что мы здесь, главным образом интеллигентны, решили, что у нас прерогатива на все дерьмо мира, но что это не так, его всюду по колено, а у нас еще больше.

— Относительно этой фразы... Видите ли, у нас существует такая национальная гордость, что все идиоты живут в нашей стране. Это неправда. У нас много, но во всем мире их тоже хватает — в той же пропорции. Но у нас они играли большую роль и в результате свели всю страну на «показатели», теперь вытаскивать надо.

— А вы верите, что это устало?

— В такие вещи не верят. Страну либо вытаскивают, либо не вытаскивают. А верить... Что же, верить в Бога надо. Менястораживает только, что мы не извлекаем уроков из своей истории, мы прошли через такое, через что никто не прошел. Мы обязаны все знать о человеке, а делаем из себя провинцию, предпологая, что где-то есть столица, где все знают. А вот куниш, нет такой столицы, сами думать надо!

— Сейчас многие видят, что интервью у нас становятся профессиональными



политиками. Какая мера участия, по-вашему, допустима для писателя в деле литературного вмешательства в политику?

— У нас в стране я знаю только одного профессионального политика — Горбачева. Остальные — любители. И на их месте я тоже был бы любителем.

— А были бы?

— Политиком? В Моссосвете ведут канализацию? Нет, не стал бы. Я вообще считаю, что писатель ничем не должен руководить — ни канализацией, ни транспортом, ни милицией, это не его дело. Но интересоваться политикой он должен.

— Скажите, а как вы относитесь к Октябрьской революции?

— Ну, естественно, как я отношусь... Как к несчастью. Люди в это верили, были и чистые люди, были и не очень чистые. Ну, а что делать, Зимний дворец уже отдавать некому. Назад ничего не вернуть, и надо думать, как сейчас жить.

— Какова была роль интеллигенции в революции?

— Интеллигенция в основном подготовила, сделала революцию возможной. Интеллигенция — и не только сейчас, всегда — путала идеологию с политикой. Всегда считалось, что, например, честный либерал, имеющий правильные взгляды на представительные учреждения, на законы, — это человек хороший, понимающий в политике. А следовательно, он может ее вести.

А это не так. Потому что политика — это особая область, которую я, например, не смог бы вести, хотя я всю жизнь о ней думаю. Но думать — одно, писать — другое, а вести политику, буквально каждый день, — третье.

— Вам определение хорошего политика?

— Поскольку я не политик, мне это трудно сказать, но я бы определил его как человека, способного совершать верные шаги в реальной ситуации, а не в идеальной.

— Какие имена в русской литературе отдали, из эмиграции, казались вам значительными?

— Что значит отдали, отсюда? Есть русская литература, которая мне нужна

более, чем всякая другая, понятно, почему...

Ну, например, в самые мрачные времена я с удовольствием читал «деревенщиков», был Юрий Трифонов, даже стихи Олега Чухонцева издавались. Есть такая М. Белкина, критик, — она прямо пишет: «Литература эпохи застоя не была застойной литературой». Люди писали, было плохое, было хорошее. Я боюсь называть списками, обязательно кого-нибудь пропустишь. Астафьева я начал читать

кина напечатала. «Тучку», очень хорошая вещь.

— А в поэзии? — Я уже говорил, Олега Чухонцева издали. Когда вышла его книжка «Из трех тетрадей», я написал рецензию, которую так и начал: «Такого-то числа произошло очень важное событие в истории русской литературы — была подписана в печать первая книжка О. Чухонцева».

С молодой же поэзией было хуже, я как-то плохо ее, наверное, знал. Вернее, так

те, кто эмигрировал, писали, с моей точки зрения, не очень интересно, вот, правда, Бахит Кинкеев приехал, стал писать хорошие стихи.

— Вы, по-моему, никогда не скрывали своего отношения к поэтическому авангарду...

— Авангард... это те, которые вперед, что ли, хотят? Знаете, я когда-то хотел издавать литературный журнал под названием «Арьергард». Там на первой странице должно было быть написано: «Арьергард — это воинское подразделение, которое отступает последним». И еще ниже: «Лица, которые хотят двигать литературу вперед, просят обратиться в другое издание». Авангардом все это было в «шешнадцатом» году, а теперь опять...

Понимаете, есть две точки зрения. Одна: новое — это хорошо. Другая: то, что хорошо, — то новое. Так вот, я поклонник второй точки зрения. Потому что подражанием ничего не сделаешь, подражание — это вторичность, это плохо. А в наше время вторичность стала многообразной. Это в пятидесятые годы графоман был человеком, не умеющим писать, и грамоты он не знал, а теперь графоман идет от «серебряного» века и подражает не каким-то приемам, он подражает образу поэта, стилю жизни. Имитация идет на более глубоком уровне, но это все равно имитация. Плохо это не потому, что было, а потому, что не свое, нет чистоты, естественного голоса. Так что новатор — консерватор — дилемма из романов соцреализма, там всегда была борьба новаторов с консерваторами.

— Наум Моисеевич, сейчас всех волнует Литва. Несмотря на различные точки зрения, для всех очевидно одно: это свершилось. Что вы думаете по этому поводу?

— Ну, понимаете, если движение персонализировалось на Ландсберге, то, конечно, от движения что-то убывает. Литва есть Литва, а история есть история. В 40-м году мы туда вошли, это правда. Но история не поправляется, вот так — сделали, а потом назад. За это время что-то произошло, возникла связь, живые связи, ничего не поделаешь. Мне эти протоколы не нужны, я и без всяких протоколов знаю, что их захватили, их выслали. Сам я с естонцами находился в ссылке, и их стремление к независимости справедливо.

Но я лично считал бы (а они с этим вовсе не обязаны считаться), что лучше федерация, потому что им самим это было бы выгодно. Но это — если у нас налажены дела, — а это очень существенная деталь. Мне кажется, что начали они очень бестактно, потом немного поправились. Я не знаю, как дальше будет, знаю много страстей, но я желаю им добра.

— Наум Моисеевич, вы

приезжаете сюда, общаетесь с близкими друзьями, ходите в гости к хорошим людям, встречаетесь с читателями, которые вас любят...

Но хорошо ли вы представляете весь социум, в котором мы живем?

— Я понимаю, что вы хотите сказать, но я никого не защищаю. Ситуация очень трудная, меня, например, очень огорчил второй Съезд народных депутатов, а еще больше — состоявшийся перед этим пленум ЦК. Это была потеря момента, людям предложили опять соревнованием заниматься.

...Да, я общаюсь с теми, с кем общался всегда, но я еще и в метро езжу, вижу другое, люди как-то проявляются. Нет, страна еще хорошая... Знаете, что я вам скажу, — когда в Америке были перебои с бензином, люди стояли в очереди за ним и были настолько потрясены, что один убил другого — ему показало, что тот без очереди влез, — вынул пистолет и хлопнул. Это было для них крушением мира. Если бы такое было, у нас, никто бы здесь давно уже не жил.

Да, у нас другая за-калка.

Да, у нас закала, у нас есть социальный опыт, и это должно дать какие-то результаты. Я не говорю, что этим опытом можно гордиться, но он есть. И учитывать это в политике, по-моему, надо.

— Вы адаптировались в Америке за столько лет? В гостях вы там себя чувствуете или дома?

— Ну, как, хожу по улице, дорогу спрашиваю, понимаю. В гостях я себя не чувствую, в гостях более приятное состояние. Так что я пребываю несколько во взвешенном состоянии. Но Америка хорошая страна, я к ней хорошо отношусь, это другое дело, что она не Россия, она не виновата в этом. Но американцы — хорошие, доброжелательные люди, в России они в основном не ездят, у них есть один недостаток — они русского языка не знают...

Американский интеллект, американская мысль — это все очень высоко и серьезно. Там есть тревога, это все настоящее. От края пропасти они стоят, может быть, немного дальше, чем мы, но мы хотя бы этой пропасти боимся, а там многие не боятся. Я вообще убежден, что всякая цивилизация гибнет, как только она перестает бояться погибнуть. Чем цивилизованнее и богаче общество, тем тревожнее оно должно быть, чтобы уцелеть. И такое направление мысли в Америке есть, оно называется консервативным направлением. Я тут тоже однажды обрадовался, увидел название: обращение консервативных интеллигентов. Ну вот, думаю, нашел родные души. А прочел — и тошно стало: это были сталинисты, точнее, неосталинисты.

— Расскажите, пожалуйста, о Солженицыне. Как вы относитесь к тому, что его имя сегодня пытаются использовать демократы и патриоты, либералы и почвенники, находящиеся подчас на самых полярных точках политического спектра?

— Кто использует или не использует Солженицына в своих целях, это меня не касается. Солженицын очень серьезный мыслитель, и его тревога о России очень серьезна. Это неправда, что он говорит, будто революция — это несчастье, которое было делом рук инородцев. Он говорит, что это было делом всех, и никого не пропускает. У него там и императорская фамилия, и кадеты, и октябристы, и черносотенцы, и все, что бы там ни было. Он говорит о слепоте, которая огула всех, что все не видели, куда все идет, и все делали не то, что надо. Во всяком случае, в его творчестве это так.

Часто приходится слышать, что «Архипелаг ГУЛАГ» нельзя назвать художественным произведением...

— О фактах. Все это, уверяю вас, я знал еще Солженицына. Я знал и думал об этом. А вот когда я прочел первый том, так, знаете, я заболел... А ведь я все знал до него. Так что это было, публицистика? Это бы-

ло искусство. Это была сила слова, а если слово не имеет отношения к художеству, тогда что? Как у Чернышевского, что ли — «люди загорались идеями»?.. А какие в «ГУЛАГе» идеи, убивать не надо? Там есть идеи, но очень глубокие, не формулируемые — вот надо так и не надо так... У Солженицына это названо точно — «опыт художественного исследования».

— Наум Моисеевич, как вы сегодня относитесь по делу «космополитов» вы не проходили, бог миловал, «прошли» раньше... А если серьезно, может ли писатель быть космополитом в своем творчестве?

— Знаете, я понимаю, что такое писатель-эмигрант, но не понимаю, что такое писатель-космополит. Даже Джойс, и тот написал «Дублин». Он был прежде всего ирландским писателем. Культура космополитична в конечном счете, но не в начальном. Где-то на небе эти культуры сходятся. Путь к небу идет через свою культуру, какие-то культуры исчезают, какие-то накладываются друг на друга, а как они развиваются, я не знаю, это в ведении господ Бога...

— Иосиф Бродский, пишущий на английском языке, это явление какого рода?

— Это пусть решают англичане, я не могу этого решать. Стихов он на английском языке почти не пишет, я знаю только два таких стихотворения. Прозу он пи-

Наум КОРЖАВИН

ИНЕРЦИЯ СТИЛЯ

Стиль — это человек.

Бюффон.

В жизни, в искусстве, в борьбе, где тебя победили, самое страшное — это инерция стиля. Это — привычка, а кажется, что ощущение. Это стихи ты закончил, а нет облегчения.

Это — ты весь изменился, а мыслишь, как раньше. Это — ты к правде стремишься, а лжешь, как обманщик.

Это — душа твоя стонет, а ты — не внимаешь.

Это — ты веришь себе и себе — изменяешь.

Это — не крылья уже, а один только перья.

Это — уже ты не веришь — боишься неверья.

Стиль — это мужество. В правде себе признаваться!

Все потерять, но иллюзиям не предаваться!

Кем бы ни стать — ощущать себя только собою,

Даже пуская твою жизнь оказалась пустою,

Даже пуская в тебе сердца теперь уже мало...

Правда конда — это тоже возможность начала.

Кто осознал поражение, — того не разбили...

Самое страшное — это инерция стиля.

лет в начале следующего года.

— Что в нее войдет?

— Те стихи, которые я не отменил.

— ?

— Есть стихи, которые я никогда себе не засчитывал, они скорее факт моей биографии, а не моего творчества, как, скажем, фактом биографии Ахматовой были стихи о Сталине. Ей сказали, что если она не напишет, то сына расстреляют. Пусть ее осудит тот, кто смог бы иначе. Я, конечно, не стоял перед таким выбором... Но мне стыдно других стихов, где я искренне верил в какие-то вещи.

— Почему же стыдно, если искренне?..

— Ну что ж, искреннее свинство тоже бывает. Я печатаю стихи, где нет нравственной ошибки, а есть насилие над самим собой, над здравым смыслом. В поэме «По ком звонит колокол» (она напечатана в «Дружбе народов») у меня есть такие строчки:

Когда устаю, начинаю

знать, что рожден и живу

в лихолетье, что годы растратены

на постижение

того, что должно рождать

понятие о рожденьи.

А если б со мною не

Я мог бы, наверное,

постигнуть другое,

что более вечно и более

ценно,

что скрыто от глаз

навсегда несомненно.

Я считаю, в принципе, что искусство должно оперировать такими вещами, которые «скрыты от глаз несомненно», а мне пришлось, как и многим людям моего поколения, стоять перед выбором, что делать? Это — четыре. И вам еще приходится это делать...

— На какие перемены в своей жизни вы надеетесь?

— Вы хотите спросить, вернулся ли я? Писать заявление о возвращении мне гражданства я не буду, как не писал заявление и о выходе из него... Мне предложили вести семинар в Литинституте, и если это будет решено и хватит здоровья, я приеду набирать студентов и буду жить здесь девять месяцев. Надеюсь на это.

— Будем надеяться вместе. Спасибо вам за беседу.

Беседу вел

Аркадий ДУБНОВ.

Фото автора.